

# В ЗИМНЕМ СТВОРЕ

В весне всегда что-то долгожданное, лето – будто цель всего года, передышка, и именно летом течёт жизнь речная, лодочная и пароходная, но всё-таки самая соль жизни – зима. И начинается она исподволь, её ждут, потому что и шляча осенняя надоела, и охота бодрости, морозца, но это только поначалу, а потом как всадится поглубже в зиму дело, как оглубеют снега и морозы прижмут – снова вязкой и глухой станет жизнь и время будто главный, тяговый двигатель включит, пойдёт рабоче и долго.

Поначалу первые морозцы встречают на реке, и мотор греть приходится, и ветер как ледяная стена, и руки поначалу с отвычки вдруг заломит от сети, от склизкой рыбины, стянувшей мордой ячею. На той стороне целый день булькотят плавными сетями омуля. На озере ледок, и дядя Илья с внуком ставит морду на животку, без неё потом налима не поймать.

Снег сначала слегка, и все ждут чтоб как следует, чтобы на другую технику пересесть, воды привезти на «буране» да закрыть наконец навигацию, вывезти лодку, и в этом снятии и вывозе сначала мотора, потом и лодки что-то есть увесистое и успокоительное. Лодки ещё разноцветным рядком на берегу, на Енисее вал, катает север, дейдвуды, винты во льду, в сосульках. Лодки, моторы обшарпанные, битые, кто-то куда-то ещё едет, заводит мотор, долго греет, синий дым срывает, уносит, ветром лодку наваливает на берег, мужик пихается, мотор орёт, на волне оголяя выхлоп.

На другой день чуть морозец, пошла шужка, сальце, небольшие, похожие на бляшки плесени, льдинки. Вот ещё подморозило, сильнее шуга пошла. Вот и притор начинает мять, растёт торосистый ледяной припаек у берега, и все глядят, куда бы удочки налимьи воткнуть.

Всех волнует, как Енисей будет вставать – ровно или замнёт его так, что торос на торосе, и дорогу «через» рубить задолбаешься. Когда к Новому году выйдут охотники, им будут говорить: «Анисей ноне как закатало, гольный торос» (ударение на первое «о». – М.Т.), или «Анисей-то нынче смотри-ка как стал, хоть боком катись». Вроде зима, морозы, а своё облегченье, и сети поставить поехать, и по сено – гусянки не гробить по торосу.

Вот, наконец, снежку подбросило и заревели «бураны», «нордики», «тундры». Кончилось безводье: водопровод из скважины был отключен ещё с первым же морозцем, и с водой экономия, а теперь вся деревня загозила, ещё вчера на «вихрях» – сегодня на «буранах», кто по воду, кто по лодку, кто по дрова.

Дядя Костя с внуком вывозит «крым» – всё старик сам делает: сын запислся. Корячится с мальчишкой, на взвозе между камней снегу мало, а подъём крутой, и он не может лодку взять, «буран» буксует, летит галька из-под гусениц, Дядя Костя перецепляет на длинную верёвку и рывками, по полметра, удёргивает лодку. Сашка из-всех сил кожилится сзади, толкает. «Буран» ревёт, дымина, и гусянки жалко, а лодку вывезти надо – Енисей вставать будет, воды даст, и её зальёт, замнёт льдом. Глядишь на эту технику – и жалко её, а свой хребет ещё жальчее. Погода смурная, рабочая, серенькая, снежок пробрасывает, всё время здесь то снежок, то ветерок, а то и снежище и ветрище.

Боковая речка уже встала, она течёт с северо-востока, с гор, и вода в ней ледяней енисейской. На самодельном драндулете едет Витас, литовец. Он упёртый, у него всё по-своему, и все над ним посмеиваются, хотя и признают, что в технике он шурупит. Он всё собирает что-то из железных отбросов. Драндулет – название Витаса – это половинка бурановского двигателя, бурановская гусянка, лодка тоже опиленная бурановская, лыжи от стринного «линкса», а карбюратор от пускача. Капота нет, всё наголе. Седушка узкая, фара без стекла привинчена к стойке. Драндулет холодный ещё заводится, а на горячую еле-еле. Коробка тоже бурановская, стоит впереди слева, и Витас включает её ногой. Обороты большие, тормоза нет, и включается она плохо, трещит, а он давит, морщится, и все качают головами, переглядываются и лыбятся.

Ему охота вырваться из деревни, и он едет к речке Акулинихе в балок, хочет сеть поднырить, удочки поставить на налима и налима покандачить, то есть половить на блесенку или на бадлу. Животку он везёт с собой в укрытом ведре.

Вечером долбит пролубку и в темноте кандачит, подёргивает балду маленькой деревянной удочкой с куском резинового шланга на конце. Обязательно надо налима поймать, все спрашивают друг у друга: «Ну чо, добыл налима?»

Свинчаткой-балдой с крючком тукает по дну и из-подо льда слышен звук, сухой, гулкий. Здорово, когда под водой, в том другом царстве, слышать наше что-то, так у плавной сети груза по галечке звякают, как колокольчики или кошка по дну скребёт... Вытаскивает налима, он тинно-зелёный, комуфляжного окраса, и грозный, и смешной, извивается в свете фонарика – главное в нём хвост. Эдакая каверзливое длинное весло, язык ли, лопата, которая всё время извивается, загивается, цепляется за лёд, и когда наверху сразу же вяло засыпает, извалявшись в сахарном снегу – хвост медленно то складывается, то распускается плоско, как лезвие, серебреет, жестенеет. Утром Витас уезжает.

Разъяснивает. С утра морозец градусов двадцать. Дым из трубы на восходе прозрачно-чёрной дугой загибается по алмазному небу на реку. С Енисея шорох и грохот. Пар тянет на реку с берега, и он, отползая, зависает столбами, иглами, занавесками. В пару видны ледяные поля. Вздрыбленные льдины ползут, будто хребты. Если спуститься на притор и подойти к его краю – совсем близко проплывает стекло. Вот подошло совсем свежее сизоватое стеклянное поле, налезая на притор, оно изгибается и ломается, но натяжку держит, его края дыбятся, ползут и осыпаются обратно на проплывающий лёд. Скользят по нему необыкновенно легко и далеко, замерев, едут дальше. Небо розово-рыжее, но солнца ещё нет, мужичок-тракторист смотрит сеть, долбит пролубку. На её льду узор куржака, звёзды и перья. Розово отсвечивает снег, брызги льда из-под пешни густейше синие, и тоже отсвечивают, озарённые небом. Мужик тянет сеть, она подаётся, тянется из пролубки – вся в мелком льду, в стекляшках, как в колокольцах. Нет ни хрена рыбы, одна шуга, но мужик не унывает. С угора его фигурка кажется совсем маленькой.

Чем шире притор, тем больше на нём чёрных фигур. Согнутые, помуравьиному прибитые жизнью, копошатся над пролубками и чуть лишней метр льда – отвоевывают у Енисея, вдаются в него налимьими удочками. Над каждой пролубкой палка-тычка. Встало солнце, низ неба до горизонта густейше синий, дальше пар, а над ним всё рыжеватозолотое. Справа от солнца видно одно из так называемых «ушей», радужная скобка, будто зимой солнце как в скобки жизнью взято, не шибко светит, хотя прибавку градусов в пять и даёт, а когда на дворе 40 – то это прибавка хорошая. Солнце двигается правее и ухо тоже ползёт правее, а из-за дома вылезает левое. Для ушей есть и более расхожее, для журналистов, выражение: «солнце чум строит». Днём и к вечеру солнце во всём великолепии, рыжее, с боков два радужных столба, если подняться по деревне вглубь, в хребет, выше – то уши будто подойдут и на фоне домов заструятся. Это вымораживается воздух и видно на тёмном фоне, как он искрится. Над самим солнцем тоже столб света. Всего три столба. И синейший снег.

Что-то царское в этих столбах, не то скипетры, не то свечи – всё мощное, торжественное, будто великий праздник, знак ли, будто над деревней великое совершается таинство – посвящение в зиму. На заходе на месте солнца вертикальный луч, как огненная тычка на месте.

Дядя Илья пересаживает животку из озера в Енисей: пора. Животка подо льдом в ящике, тут же неподалеку морда, ещё недавно ставили, ещё по осени, а кажется, вечность прошла. ...Осенний день, снега ещё нет, жёлтая трава, правда, на озерах уже ледок. Дядя Илья едет ставить морду, морда сделана старинно из гартыя – тонких щипанных реек, густо жёлтая, будто какая-то древняя ваза. Едет с внуком. Внук подскакивает на старом, первых выпусков «муравье», зелёном, без фары. В кузове топорщатся морда, загородки – не то самолёт самодельный, не то ещё что.

Виталька едет к озеру, дед идёт с палкой, твёрдо трогая ею дорогу, рядом вьётся сучка, он покрикивает, поганивает её, когда она лезет. Ветер – север, на Енисее вал с беляками, камни – белые, как глазурью облитые льдом, стеклянная волна взлизывает их грубо, бьёт с тупой силой, солнце то выходит, то в сизых тучках. У озера поют на ветру тальники, на воде рябь. У берегов лёд тёмный, бесснежный, рыхловатый. Дядя Илья долго ставит морду, когда ставит загородку, кладёт на лёд топорик, и он лежит совсем по-зимнему, неподвижно и спокойно. Морда поставлена. Виталька едет домой, дядя Илья, так же тыкая палкой, так же поигрывая с сучкой, идёт по мёрзлой каменистой дороге среди жёлтой травки.

Теперь всё белое, и только кое-где торчат из снега чёрные стволы конского щавеля.

То в ясную погоду дядя Илья на удочках, то в пасмурную, а снега всё подбрасывает, и глубже осаживается жизнь в зиму, и всегда с дядей Ильёй сучка, и когда он снимает с крючка уснувшую животку и кидает ей, она хватает и в два-три подкуса хвост исчезает в пасти.

Дядя Илья то на удочках, то на мордах, морды он поставил две, но что-то ловится неважно. Озёра маленькие, длинные, на них понаставлено уже порядочно этих морд с загородками из плоских речек. Ваня, глуховатый остяк, тоже проверяет морду, загончик у него из реек, а сама морда из алюминиевой проволоки – вот тебе и остяк. Зато мать его, тётка Мария, ещё что-то помнит, не алюминиевую, жизнь.

Тётка Мария живёт в брусовом доме, внутри почти ничего нет, железные кровати, тряпки, печка, сковородки, кастрюли, кружки. В сенях окно, и иногда в нём маячит её лицо. Тётка Мария очень старая, у неё тёмно-жёлтая в складках

кожа, смотрит она всегда насторожённо, а двигается и говорит медленно, не очень понятно и будто через глухую прослойку.

– Тётка Мария, покажи куклы.

– Куклы? – переспросит вяло, будто не понимая, голова подрагивает, движения неверные.

– Но. Покажи, вот тут ребята ко мне приехали, посмотреть хотят.

Она мешкает, потом идёт с кухни в комнату, куда-то лезет, вставая на табуретку, достаёт, выносит и кладёт на стол что-то, завернутое в тряпку. В тряпке свёрток росомашьей шкуры. Там куклы – алэлы, домашние покровители – деревянные лица и тряпичные туловища. У одной куклы вместо лица тёмная железная, а вернее всего медная, петля – как сложенная плётка. Лица в оторочке из старинных бус, крупных, мутных, неправильной формы горошин – блекло-жёлтых, красных, зелёных. Деревянные лица кукол тёмные, у одной оно особенно выразительное и круглое, на нём выдающийся узкий и горбатый нос, будто килек, вместо одного глаза квадратик жести на гвоздике – как подкладка шифер прибивать. Что-то поражающе суровое, какая-то страшная простота в этих древних младенцах в чепчиках из бус.

– Мария Игнатьевна, это чо такое?

– Куклы, куклы шаманские, – прохрипывает тётка Мария с очень сильным остяцким акцентом.

– А сколько им лет?

– Старые, старые совсем.

– А имена есть у них?

– А?

– Имена, имена есть у них?

– А-а-а... Имена. Имена нет у них.

– Тётка Мария, ты никому не отдавай их.

И тут она будто выплывает из своего оцепенения и говорит первые и последние свои твёрдые и осмысленные слова:

– Не, не. Пока жива, со мной будут. В этом наша жизнь.

Саша с Ваней в это время в другой комнате, Коля валяется перед телевизором, а Ваня вскоре стыдливо выходит. Саше сорок с небольшим, раньше был неплохой охотник, потом от тайги постепенно отошёл, сначала бык забодал, бок порвал, потом ещё что-то, а потом деревня, пьянка и тупик.

Ноябрьские праздники. Дядя Ваня, мой сосед, только что приехал с охоты, у них с сыном любительский участок рядом с деревней. Оба матерятся – соболя мало, в капкан не идёт, отжирается на рябине, а её море, и снегу навалило по пояс – собаки не идут.

Ночью подморозило, до этого оттепело и шуга шла масляным лёгким ходом, со снегом, как в вате вся, и липкая, такую – чуть мороз, и махом склеит.

Дядя Ваня собирается поднырнуть прогон для сети, в санях черпак, пешня, нырило, крючки, тычки и обязательно лыжи. Вот поехали, и дядя Ваня унёсся в снежном облаке и в своей позе – на коленях в санях в корме, сидя очень прямо и крепко. У него стать-повадка такая, всегда как поплавок, прямой, стойкий, хоть и болеет. Пока сын заводит буран, он уже сидит неподвижно в нарте, залатанная фуфайка, рукавицы, завязана ушами назад ушанка.

У дяди Вани тоже всё сплелось в голове – свои детские впечатления он путает с рассказами отца и деда, и прошлое у него теряется в бусом и морозном енисейском тумане. Он сам будто по пояс в прежних временах, всё у него делится на «ране» и «ноне». «Ране город в Енисейске был, – говорит он, имея в виду что столицей Енисейской губернии был не Красноярск, как теперь, а Енисейск. – Ране, парень, белка дорого стоила, а щас на неё и кирпич хлеба не купишь».

У всех стариков одна тема, что ране рыбацкий, охотничий, крестьянский труд ценился, и люди свою нужность понимали, а сейчас всё никому не нужно. Оно так и есть, хотя народ, как его ни трави и ни изводи, всё равно силу имеет, кать трудовую и рад бы не работать, да не может. Рассказывали, один мужик выращивающий в Ворогове помидоры и капусту, просил начальников, чтоб забрали у него овощи, и вроде бы обещали вертолёт, готовьте, мол, и ждите, но никто не прилетел, а он ждал, да ждал, пока не помёрзло всё. То же рассказывал мне и кержак на барже – что могут они картошку и овощи выращивать и просят начальство: примите у нас, это же для района. Но никто не берёт, потому что выгоднее и проще закупить в Красноярске по дешёвым ценам и привезти по воде, чем вкладывать в сельское хозяйство на месте.

Дядя Ваня рассказывает:

– Мне отец так говорил, вот ране, кто белку промыслял, рыбу, тот зыл, а кто ни х... не делат – тот пропадай.

Жена дяди Ванина умерла, дядя Ваня признаётся:

– Скучаю сильно по ней.

Дядя Ваня говорит глухим голосом, и когда разговор закончен, удаляясь по краю угора, продолжает гулко и глухо басить, бросая слова уже совсем в бесконечность, и они растворяются в ветре, дали и сливаются с ней в одну крепь. Дядя Ваня – настоящий рыбацкище: весь год сети, перемёт, невод. Летом встаёт в шесть, и полчаса спустя у них с сыном идёт на угоре громкая и гулкая разрядка. Дядя Ваня, продолжая бакланить, спускается, слышно, как стучат сапоги по лестнице, потом взрывает мотор, и так же час спустя они поднимаются.

И так всю жизнь. Прошлым годом заходит соседка: «Миша, помоги тёлку ободрать». Туша на угоре над Енисеем, мороз под тридцать, ветерок, всё стынет махом, и шкура, и копыта, только нутро ещё тёплое и рукам в нём хорошо. Дядя Ваня старается, но ему тяжело, хворает, и руки мёрзнут, и он еле шевелится, а потом и вовсе уходит домой.

Помню дядю Ваню ещё лет пятнадцать-двадцать назад, такого же прямого, с прямым поставом головы, вечно идущего откуда-то с рюкзаком и посохом на своих сельдюцких лыжах – очень широких и таких тонких, что так и ходят ходуном, вихляются двумя листами. Носы и задки тоже как мыски листьев, острые, и камус на них исшорканный и по краю блестит затёртой голой шкурой. Он и сейчас с этими лыжами за спиной в морозном скрипе шагов проходит по краю угора мимо моего крыльца:

– Куда, дядя Вань?

– Да вот, пойду, это... пролубку обдолблю, – показывает, стучит посохом – садок там у меня стоит.

– Ну, ясно, ясно, понял, понял, – ответишь по радиостанцевски, поохотничьему. Я снимаю его на камеру, и он выжидательно спрашивает:

– Ну что, идти?

И уходит с черпаком, посохом, по краю угора, на фоне высокого яра с белыми откосами, гигантской дали, и за спиной будто сложенные крылья пятнистые от камуса лыжи. Пройдя метров десять, он оборачивается, кивает на камеру:

– Интересная штука!

Дядя Ваня тоже болеет о животке. Животкой, или животьёу, могут быть и ельчики, и ерши, и щучки, и «леночки» – озёрные гольяны. Ловят их по-разному – с осени неводом, позже в морду или на кандачку, но главное, что сидят они в садке – ящике в озере подо льдом или в Енисее. Как говорил мой сосед Толя – в «турьме»: «Посажу их в турьму». Турьма – плоский ящик с узкой крышкой на проволочных петлях. К нему привязан на верёвке груз, какой-нибудь трак от трактора или камень в авоське из неводной дели. Поперёк пролубки лежит палка, на неё крючком, то есть сучком вниз надета другая вертикальная палка, её нижний конец под водой, к нему привязана верёвка. Обдолбил пешней и тянешь крючок с верёвкой, идёт садок, на садке груз. Садок будто с сокровищами, весь тёмный, исшорканный, в мороз дощечки мокро блеснут на солнце, а в ветрище, снежище, верёвочки, узелки тут же леденеют... Достал, но не полностью, чтобы не оголить животей, и отворил крышечку. Там в вековой и таинственной рыбьей задумчивости бродят ерши. Тыкаются, пошевеливают хвостами. Чем питаются они долгие недели? Говорят, своей же слизью, но не верится.

Без животки не поймать налимов. Налим – енисейская зимняя еда. Кормилец. Удочка – это капроновая нитка с грузом и одним или двумя крючками. Либо просто тычку, палку метра три длиной, с воткнутым в дно концом и привязанной там же ниткой. На крючках живец. В тепло, когда лёд слабенький, подошёл к пролубке: если тычка сдвинута – значит, сидит кормилец.

У Виктора Петровича Астафьева вычитал, что в Овсянке налимов поселенцами звали, и давай прививать это дело. «О! Поселенец идет!» А мальчишка сосед, кричит: «Где! Где васеленец». Так с Толяном и стали налимов васеленцами звать.

Без васеленца никуда, даже Ванькина бабушка, которая улетела погостить к старшей дочери в Зотино, передает:

– Валя, доча, пришли мне-ка налима, не могу!

Тем временем всё шире притор, и уже стоит опечек посередке, на который лёд садится сразу. В солнечный день полоса притора с сахарным крошевом торосов тянется вдаль, повторяя линию берега, цепочки торосов изгибаются, и выделяется изогнутой шершавой ниткой одна высокая гряда – в один момент особенно сильно и высоко торосило, и в этом кривом следе посреди уже ставшего льда есть что-то очень речное. Таким же отпечатком речной воли, повадки и видны с вертолётá схематично-недвижные, по-школьному условные следы прежних берегов, стариц,



и так же проявляется живая тягучая природа реки в дугах и кривулях сахарных торосов.

Но всё ещё идёт Енисей, и хоть уже мало открытой сально-матовой воды среди крошева льда и полей, всё ещё скользит лёд, но совсем скоро замрёт это вечное движение пред глазами, этот бесконечный жизненный телевизор, и всех как встряхнёт от колоссальной остановки. И настанет великая неподвижность, великий покой, и казалось бы тысячи вариантов полей, льдин, водяных окон проезжали каждый день мимо деревни, и вдруг всё замерло, и эта картина только что была мимолетной, случайной и вдруг стала единственной до весны. Как бывает: десятки людей проходят перед глазами, и вдруг один кто-то остаётся на всю жизнь. И это превращение случайного, текущего в постоянное и есть судьба.

Енисейного ледостава все ждут, чтобы сразу сети на устье Бахты и Сарчихи ставить, и по сено можно будет на ту сторону на Старое Зимовье ехать, и охотники с той стороны домой прибегут, всё это правильно, но помимо всего этого понятного и делового, есть ещё какое-то великое успокоение для души, когда Енисей встал.

Как когда-то на растущий притор все повально выползают ставить удочки, так теперь все ломанулись ставить пушальни. Сначала подныривают прогон, то есть подводную верёвку по длине сети. К одному концу прогона привязывается приготовленная сеть, к другому – верёвка, её конец тоже рядом с сетью в руке. Тянешь верёвку, и сеть сходит. Также и смотрят пушальню, собирая в гармошку в пролубке, потом тянут за прогон, и сеть растягивается подо льдом.

Тоже сборы – нырило, крючки, палки. Прогон подныривают так: готовят длинный шест и рогульку. По длине шеста бьют среднего размера лунки, большие только крайние майны, к нырилу привязывают прогон, пихают нырило в майну и ждут пока оно покажется в ближней лунке, там его пропихивают рогулкой дальше к следующей лунке и так до конца. Лучше прогонять нырилом-шестом с проволочной кошкой на конце. Верёвка с грузиком в майне, и её цепляют нырилом из следующей лунки и так до конца. Как-то мы с тётёй Шурой, Царствие ей Небесное, подныривали прогон на течении на Енисее льдинкой. Морозы стояли, а снегов не было. Привязали льдинку и пустили по течению от пролубки, один спускал верёвку, а другой слушал, как она бьётся, стучает, разглядывал белую под тёмным льдом. Там и долбил.

Бывает, поставят сеть, и вдруг тепло, вода прибудет и оторвёт Енисей ли, устье Бахты вместе с сетями и пешнями, и беда – ничего не сделаешь, хоть беги до Диксона берегом, тогда всё сначала, сети садить, пешню делать.

Пешню оттягивают обычно в школьной кочегарке – там мощная на угле печь. На пешню годятся болты от бон, пруты шестигранные и круглые, главное, чтобы железяка была сталистая. Раскаляют докрасна и отковывают на наковальне, острят, придают грани. Остриё горит, светится, как копьё. Потом в масло. Потом приваривают трубку – садило, а потом строгают из берёзки черен или пеховище, садят, прихватывают гвоздиком – и пешня готова. Долби иди! – как говорит в таких случаях сварной Василий, убирая сварочник.

Морозный день. Дядя Илья собирается по удочки. Сидя на табуреточке, напяливает носок, пакулек, портянку и сам бродень, опробует его изнутри ногой, дотягивает, подвязывает вызочкой. Морда бродня очень похожа на налимью. Кожа лучше резины, она и дышит, и легче по весу – ноге в бродне необыкновенно удобно, собранно, нутро тёплое, мягкое, а снаружи кожа, которая всё это тепло держит. Дядя Илья надевает фуфайку, перепоясывает ремешком, поправляет нож, завязывает шапку.

Раньше стельки в броднях делали из травы. А к бродням обязательно полагаются вязочки. Кожаные – держат подъём. Подколенные – голяшки. Они тряпичные с тесёмками, широкие и расшиты тряпичными цветными полосками. Очень удобно ехать на таком подвязанном колене на мёрзлом сиденье «бурана» или какого другого агрегата. Пакульки – меховые носки – из собачины, а бывают ещё из гагары, считаются очень крепкими. Есть ещё пимы – камусные бродни – на самый мороз. И рукавицы тоже бывают разные – суконные верхонки, тёплые стеганные и собачьи мехом наружу. Они называются лохмашками или мохнашками и очень тёплые.

Юксы делают из сыромятины, эта кожаные крепления для туго набитого бродня. В мороз они скрипят попадающим туда снежком и для скрадывания сохатого используются специальные мешки – прибивают их к лыже и ногу суют в мешок. Площадки под ногу делают из разных материалов, но главная борьба идет с подлипанием снега под пятку, особенно в тепло. Подбивают бересту деревянными гвоздиками-пятниками, проволочными скобочками резину от сапога, белую жёсть от банки и даже пластмассу от распластанной кetchupовой бутылки.

Лыжина бывает пощеляется вдоль, и её заклеивают прямоугольником налимьей шкуры – и тут васеленец пригодился. Камуса, или камусы, – шкуры с ног сохатого, оленя или даже коня, ворс у них короткий, крепкий и сильно наклоненный в одну сторону, прямо заглаженный, поэтому лыжи, оклеенные камусом, не катятся назад, к тому же и прочнее в такой обтяжке. Скроенные по лыже камуса называются подлыком. Подлык заворачивается на верхнюю сторону лыжи – в таком чехле лыжа ещё крепости берёт. Слышал, что ещё жилы пускали

под подлык. На северо-востоке Эвенкии с лесом туговато, и лыжи из двух продольных половинок делают – подлык держит. Видел в более южном посёлке лыжи с конским камусом – гнедые и мохнатые. Слышал, что конский камус очень ноский. На Енисее говорят обязательно «конь», а не «лошадь», это по-старинному, по-сибирски.

Охотник надевает лыжи, не нагибаясь и помогая в юксах концом посоха или охотничьей лопатки. Вставляет ногу в юксу почти поперёк лыжи, потом натягивает её заднюю петлю пяткой назад и, изловчась, заводит гнутым и быстрым движением-выкрутасом в переплёт юксы. Также и вынимает ногу – движение это в своё время меня просто поразило – настолько оно справное.

Когда смотрят сеть в мороз с ветром, натягивают рядом кусок брезента. В мороз индевеют волоски на руках.

Щуки, сиги, чирьи, ленки... Когда их выпутают из сети, они только извивнутся на снегу и замирают, вывалившись. А потом становятся седыми, проколевшими и хрупкими, в нарте колотятся друг о друга, как стеклянные колотушки. Всё заиндевелое – суконные штаны, брючина, надетая на бродень поверх голяшки, а бродень во льду – где-то ступил в наледь, в воду. Морда красная, и уже в тепле над печкой мужик развязывает шапку, кряхтит и сосульки выплёвывает.

Особенно лихой вид у охотника, приехавшего под Новый год с промысла. По теплу ли, по морозу нёсся он будто целую вечность в рёве «бурана». В нарте пила, мешок с пушниной, сахарные рыбины. Влезал в воду, «буран», бродни во льду, весь пепельный, сахарный, резко воняющий выхлопом. Ехал-ехал, и сколь вёрст было, все его. Если заколевал, грелся по пути в чьей-нибудь избушке. Собак ждал. Сначала, бывает, какой-нибудь молодой кобель рванёт вперёд, побежит весело, с тобой ещё и заигрывая, то впереди, а то и рядом. А потом, глядишь всё, уже сзади, почти носом в нарте – так обдув меньше, хоть и вони больше. А потом уже и сзади никого. И вот стоишь, мнёшься, ходишь, и всё вглядываешься, когда одна, другая – чёрные точки покажутся, и всегда сначала какую-нибудь торосину принимаешь за собаку, а их все нету и нету, и начинаешь думать: вот след соболя был свежий, вдруг, козлы, ломанулись или избушку Санькину проезжали – вдруг туда, вдруг останутся, потом ездай за ними, или ещё хуже в капкан влезут.

Но вот запрыгала одна точка, за ней другая, и как обычно немного не там, где ждал, и уже ближе, ближе, и рад, и кажется огромное дело, что вот они догнали и рядом. Вот они, морды заиндевелые, кто посвежее, весело и приветливо сунется к тебе, кто потяжелее – просто подбежит. И снова руку в петлю стартера – и вперёд.

Только километров за двадцать или десять от деревни, когда уже и дорога накатана, как трасса, и собаки будто на рельсы поставлены – там уже гопишь, не оглядываясь.

Небо давно догорело, и остаётся над хребтом его стеклянно космический край, тёмно-синий с прорыжью, и всё шарит, шарит, густеет по сине-сахарному снегу свет фары. Люблю я этот свет, когда ещё только густеет вечер, но всё вокруг постепенно отступает, и остаётся только рельефно освещённая дорога, яркое поле сияющего снега и зелёный циферблат спидометра, или наоборот, утром, когда всё ещё лиловое перед тобой, но за остроконечным лесом, что проносится мимо с ночной ещё луной, уже светлеет, прозрачнеет и наливается светом морозное небо, и меркнет на снегу свет фары, растворяется, как сливочное масло в детской каше.

Бывают разные небеса. Бывают просто стеклянные, бывают с тонкими полосами, стремительными, по линейке прочерченными, сизыми по ясному горизонту, бывает небо, будто взрыв – из одной точки будто пучок перьев расходится по всем сторонам. В основании чуть пухлые, а дальше ровные, стремительные, не то рельсины, не то нити – и то ли из какого бутона тянутся, то ли наоборот со всей необъятности в один узел сходятся, в чью-то крепкую руку.

И так к Новому году всё тоже стягивается в один узел, и охотники подтягиваются, у рыбаков тоже вроде итога, кто уже и сети выбрал и удочки прикрыл. И уже далёким бесконечно кажется и тот осенний ледок в озере, где у дяди Ильи морда стояла, и первый налим, и нырило под тонким льдом. Всё уже зимнее, глубокое, снежище дак снежище, морозяка дак морозяка, без дураков, и двадцать градусов как отдых. И люди на улице стеклянно-заскорузлые, бороды, усы, оторочки шапок – все белые, звонкие, в сосульках, а зато в тепле ещё сильнее живятся, отходя, и краснее рожи и глаза веселее, и руку тянут и жмут крепче, и снова кто-то что-то спрашивает, как и чо, сколь кого добыл, как с рыбалкой, и чо соболь? Спрашивает, чтобы выслушав, потом самому рассказать, обрушить трудовое одиночество, завалить подробностями, убедиться что у Васьки, Генки, Петьки та же история, забил соболь, падла, хрен на капканья, и мыша море, приваду приел, да животка задохлась в озере, да и ладно, главное что все дома, живы и техника рядом, накрыта, и собаки сытые.

Вот и соседка, бабушка из Зотина, из гостей прилетела на вертолёте, её под руки выводят, и грохот, и снежная пыль, а бабушка только головой качает-мotaет, ох, слава Тебе Господи – дома! И от толчеи этой, гомона так богато на душе делается, что пока не опростаешь её в рассказе ли повестухе, не успокоишься.